

Онтологическая редукция: к осмыслению прозы Варлама Шаламова

Александр Дьячков (Образовательная программа «Философия»)

Введение

Проза Варлама Шаламова предьявляет философии вызов. Этот вызов, конечно, не включает в себе ни толики прошения или вопрошания – это не возглас о помощи и не мольба о заступничестве. Поостережемся вовлекать сюда специфически-интенциональную коннотацию *вызова* как *призыва*. Шаламов может не адресовать к философии, но имя этого адресата зачеркнуто, хотя не вымарано, – и философия прочитывает прозу Шаламова как безличное, но личностное послание, словно ненамеренный акростих. И чего больше – ностальгии или иронии (впрочем, чувства эти у Шаламова не безразличны, а скорее пребывают в лавирующей негации) в этих трудовых «категориях» («Красный крест»), диалектическом скачке от холодной воды к горячей («Сентенция»), в рассказе о дне легкой работы, озаглавленном «Кант»?

Антифилософскую прививку своей прозе Шаламов не ограничивает этими языковыми отсылками – эксплицитными, хотя и замурованными мрачной иронией в самую архитектуру его письма. Шаламов делает больше: он ставит под вопрос логику. Перед нами воссоздается мир не речей и рассуждений (в противоположность нарочитой «литературности»), а мир чистых актов и фактов; литература не логоса, но праксиса. Это мир не гносеологии, но гностицизма: в нем истины не познаются, а вживаются, словно казенное белье. Если в этом мире появляется Автор («Татарский мулла и чистый воздух», «Красный крест»), он сосуществует в единой субстанции с Текстом, всегда ему имманентный, творящий и в нем же заключенный, – надзиратель самому себе, предупреждающий бегство в отстранение предисловия¹. Авторская речь звучит здесь без смены регистра, не позволяя письму передышки. Она не воспаряет в над-текстуальную мораль, никаким образом не трансцендирует; потому шаламовский текст представляет собой пространство разреженного воздуха, в котором слова теснятся в бдительном напряжении: этот текст будто всегда начеку. Когда слово берет Автор, текст вспыхивает афоризмом – монадой контр-рефлексивной истины, которая будет не проповедью, а скорее – заповедью. Пророк порождает экзегета, однако философ – как минимум сверх-экзегет, а точнее – герменевт – со-творец смысла, не акциденция Автора, а его коррелят.

Итак, перед нами герменевтический вызов, в эпицентре которого – всегда философ. Это эссе – не претензия редуцировать прозу Шаламова до структуры или низложить ее к фундаменту некоего единого Инварианта. Оно членится на две заметки, каждая из которых стремится подступиться к осмыслению шаламовской онтологии. Говорят, что поверхностный обзор предполагает некое *«очертание»*; я не ставлю перед собой и подобной задачи. Скорее, я предпринимаю здесь попытку задать несколько парабол, с надеждой на то, что их осторожное приближение выхватит и высветит для нас область шаламовских смыслов; в общем, решаюсь мягко притоптать заносы на тех дорогах, которые Шаламов прокладывает в миниатюре «По снегу».

Онтологическая редукция

Надзирающее пространство

Само пространство шаламовского текста, разреженное, плотно-тягучее, воспроизводит тот мир, который этим текстом создается. Разница лишь в модальностях этой безвоздушности: спертый тюремный воздух и ледяное удушье лагеря сменяют друг друга в этом нечеловеческом дыхательном цикле, превращаясь в ужасающе-ироническую аллюзию на последовательные пытки ада («Татарский мулла и чистый воздух»). Мир у Шаламова – герметичная, импловивная среда, которая оставляет человеку лишь иллюзию пустоты; здесь не человек определяет и осваивает пространство, а, наоборот, пространство всецело *задает* человека.

Во-первых, измерения этого пространства, незамкнутые вплоть до горизонта, – злая ирония, внушающая ощущение безграничности; простор становится симуляцией реального пространства свободы перемещения. Уходящие вдаль гектары леса выпадают из трехмерности, оборачиваясь фоном на границе Небытия. Это Небытие страшно не тем, что нельзя переступить его пределы; его обсессивный ужас состоит именно в том, что его границы преодолимы, однако ему невозможно *сообщить бытие* («Сгущенное молоко»). Пространство становится еще одним, самым безжалостным и всегда присутствующим надзирателем: оно устанавливает незримую диктатуру, эманулирующую в насилие конвоиров («Ягоды»); оно переполнено аффордансами: вещи восстают и подчиняют себе homo faber, поработавшая его невыполнимыми нормами труда («Одиночный замер»).

Во-вторых, этому нищему, скудному на вещи миру коррелирует нищета мышления: деформируется, коснеет язык, и безжизненная заледенелость атмосферы вызывает отморожение слова. Помимо того, что в язык просачивается отравленный диалект («Красный

Онтологическая редукция: к осмыслению прозы Варлама Шаламова

крест»), сам речевой акт редуцируется к утилитарной, служебной функции: речь отрывается от мысли и сводится к системе атомарных знаков-сигналов. Оттого – экстатический восторг, вызванный реапроприацией слова («Сентенция»); с оттаиванием языка трогается и лед мышления.

Скованное время

Рассказ Шаламова короток и напряженно-чуток, словно лагерный сон. Как и во сне, здесь повторяются декорации, монотонно звучат – сквозят водяными знаками – одни и те же бессмысленные фразы («Труд есть дело чести, дело славы...»). В несмежных, но взаимопроникающих пространствах материализуются и растворяются призраки зыбких шаламовских архетипов: безвестная девушка из рассказа «Дождь» перевоплощается в секретаршу начальника прииска в «Первой смерти»; старик Фризоргер, отступающий в небытие в концовке «Апостола Павла», воскресает в «Тифозном карантине»; навязчивым, преследующим видением повсюду мнится тень арестанта Сенечки («Тифозный карантин», «Красный крест», «Аневризма аорты»). В этом расколоте на кадры, дискретно-скованном времени происходит череда изоморфных наслоений; непрерывной остается лишь диффузия событий, которая стремится к пределу их абсолютной неразличимости.

Шаламовское время не течет, а сгущается, и забытье в нем имеет иной характер, нежели волевая «перемена горизонта», как сказал бы Ницше. Это время подражает сну лишь расплывчатой алогичностью образов: те события, в которых оно разворачивается, слишком реальны, чтобы быть отброшенными, как ночной кошмар. Забытье в этом времени неосуществимо из-за интенционального поворота к будущему: его горизонт замыкается двумя ближайшими днями («Плотники»), но оно достижимо при предельной концентрации в точке настоящего, в чистом инстинкте жизни; это время – среда, наэлектризованная ужасом, – мощный медиатор для феноменологической редукции (в духе Хайдеггера) – редукции к пульсирующей, утверждающей себя экзистенции.

Библиография

Шаламов В. Воскрешение лиственницы. М.: Худож. Лит., 1990.

Сноски

1 Вопрос в том, действительно ли Автор, появляющийся в предисловии, способен на трансцендентальное зачатие Текста — приостановку интерпретации? Вспомним, например, Владимира Набокова, который в предисловии к каждому английскому переводу своих

Онтологическая редукция: к осмыслению прозы Варлама Шаламова
русских романов посылал весточку «венской делегации» — отваживая от Текста прочтение в
оптике фрейдистского психоанализа.